

В Киеве, в глубине дворов, над шумом котловне площади Победы высится внушительное серое здание. Как-то сразу видишь, что здесь обитает нечто медицинское. Это дорожная больница или, как называли ее путевиком, ДОБ-1. В пятидесятых годах на первом ее этаже размещался тубинститут. Собственно, это было несколько кабинетов и лабораторий. Тут, в далекий августинский день пятидесятых годов, я впервые встретился с Зинойди Николаевной Некрасовой. Она была врачом-фтизиатром, а я пациентом. Мне шел двадцатый год...

Кто-то из медиков сказал: «Лечу солдат как генералов, а генералов как солдат». Зинаяда Николаевна была именно таким врачом. Невысокого роста, уже в летах, в ослепительно белом отутуженном халате, в пенсне, она

сосредоточенно выслушивала меня. Фонендоскоп оставался на шее, продавливал, легкие и теплые ее пальцы скользили по грудной клетке. А направила меня сюда не зря...

«Стрептомичан не помог...», — пишет Виктор Некрасов в очерке «Платонов», рассказывая, как добыл в начале пятидесятых годов, получив несколько резолюций, этот новейший антибиотик для дальнего головного туберкулеза Андрея Платонова. Мне стрептомичан помог. Прошли годы и странствия. И вот однажды, в начале шестидесятых, пришел день на Крещатику я увидел Викторину Платоновну Некрасову — я знал его в лицо — об руку с моим доктором, Зинойди Николаевной чуть постарела, но шла бодро. И вдруг я понял: да ведь она — мама Виктора Некрасова!

# ТРИ МУЗЫ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Юрий ВИЛЕНСКИЙ

Таких сыновей, каков был он, не много. Их взаимная привязанность была редкостью. Конечно, материнский авторитет просто потому, что они наши мамы. Но все же я убежден, именно Зинаяда Николаевна являлась для сына высшим примером порядочности, духа справедливости, вменяемого выбора в пользу совести. Несомненно, доктор Некрасова не одобряла урочистый и репрессивный «казарменный социализм». Но как характерные для нее поразительные слова, сказанные в августе сорок первого года, когда Викторина призвала в армию: «Ну и правильно, и хорошо... Я очень рада за тебя. Нельзя отговаривать себя в тылу. Иди... Только не забывай писать!»

Не всякая мать найдет такое запущенная. А вспомнил некрасовского Корженича в «Окопах», а это понимание солдата, заботой о каждом подчиненном, истинным демократизмом отношения офицера к воинам в условиях сложнейшей боевой обстановки! Таким был сам Виктор Платонович. И все это тоже ответ черт мамы, ее взглядов, ее мировоззрения, ее кодекса чести.

Родные и близкие... Два эти слова подчас лишь формально сочетаются между собой. В семье Виктора Платоновича они синонимы. И поэтому начать этот триптих — Аллина Антоновна, Зинаяда Николаевна, Софья Николаевна — нужно с Алины Антоновны, ее бабушки. Ей Виктор Платонович посвятил одноименный очерк.

## Бабушка

«У изголовья кровати моей матери висит в белой с позолотой раме картина, на которой изображен букет чайных роз и еще каких-то неясных мне цветов в фарфоровой вазе, стоящей на дощечке. Внизу справа дата — 1874 и подпись — А.Эрих. Акварельный букет этот принадлежит кисти «благородной девицы» Алины Эрих и сделан на уроке рисования в Смольном институте, когда ей было семнадцать лет. Чуть ниже фотографии красивой девушки в белом кружеваном платье с медалью на шее... Рядом с ней другая фотография — молодой дамы в очках, за письменным столом, исподлобья развернувшись к стороне объектива. И девушка и дама — Аллина Антоновна Мотовилова (в девичестве Эрих), моя бабушка.

В бабушке не было ни капли русской крови (отец ее по происхождению швед — Антон фон Эрих, вернее Эрих, генерал русской армии, мать — итальянка, родом из Венеции, Валерия Франческа Флорини), но как-то получилось, что бабушка моя умудрилась сочетать в себе самые положительные черты русского человека. Приветливость, доброта, исключительное гостеприимство, умение легко переносить трудности... Все ее любви. Конечно же, все видше, сидевшие на Марининско-Благовещенской, и даже невзлюбив, стоявшие на углу Б. Васильевской, хотя услугами их бабушка из-за отсутствия денег не очень часто пользовалась. Такой милый и открытый был у нее характер.

Была она ко всему еще и красива. Красота, которую не искажает старость, по-видимому и есть подлинная красота. И дело даже не в привлекательности или благородстве черт, а в том, чего на фотографии не увидишь, — в выражении глаз и улыбке, которые на всю жизнь остались молодыми.

Думаю, что именно ее взгляд и улыбка покорила некоего господина в бакедарию, который на балу в Смольном пригласил Алину Эрих на первую мазуру. Этим господином с бакедарию были император Александр II.

Потом жизнь в имени своих родителей в Симбирской губернии, — некогда там не был, но в детстве очень ярко представлял его себе. Очевидно, вышедая в свет, замужество, дети...

Так вот, с появлением детей — четыре дочери, младшая, Ниночка, умерла еще ребенком, — жизнь несколько изменилась. Меньше хлопот, больше симбирских улочек, а потом, после смерти деда (умер он от чахотки, захлебнувшись кровью, о чем моя мать, в прошлом врач-фтизиатр, часто, задушевным в своем кресте, вспоминает) симбирские улочки сменились на лозановские. Почему бабушка одна с тремя детьми поехала в Швейцарию? Как мать сейчас объясняет, просто для того, чтоб сменить обстановку после смерти ее отца.

— Ну и для того, чтоб научиться французскому языку, — добавляет она, mildly улыбаясь.

«Ленни я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заехал к нам и провёл у нас полдня... Вошел незнакомый человек и сказал, что его пригласил Катюша. Мама повела его в гостиюю, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и весь погрузился в газеты.

Обращаясь к маме, незнакомец сказал: — А мы с вами из одного города.

— Как же ваша фамилия?

— Петров, — ответил он (Ленни одно время, как известно, подписывался Петровым.)

Позже, когда к нам приехал Кассион, он спросил маму: — Был ли у вас Ульянов? И тут все выяснилось...»

В Некрасов пишет, что во время оккупации, когда немцы сидели в Киеве долго, родным удалось перенести на новое место жительства некоторые наиболее легкие вещи. Среди них была и принцессочка, которой Ленин, вместо промашки, однажды воспользовался.

«А что Ленин написал на этой бумажке? — не угадала я. — Не помню уж. Да, вероятно, и не читала. Так, несколько кажи-то слов... И где же эта бумажка? Выкинула, небось? Бабушка смущалась. Я укоризненно качал головой, а бабушка еще больше смущалась...»

Да, бабушка понимала и простые, и сложные. А сложное всех была ее собственная дочь Сова. Вечером, когда надо было идти в ванную умываться, она пальчиком махнула меня к себе и шепотом говорила: — Поведи меня ты. Она там терроризирует — не то мыло казала, не то полотенце...

Последние годы перед войной бабушка особая. У нее был небольшой, как тогда говорили, удар. Отпали магазины, базары, оуды. Сидела в кресле и что-то шептала, шловола, — тотим ряд перенести-вала французские романы в желтых обложках.

Последний раз я видел бабушку в апреле 1941 года. Я приехал на три дня из Ростова, где служил в театре Красной Армии, «меньше паспорт. Бабушка, востраждая, но такая же милая, страшно мне обрадовалась и все строила планы на лето, как будем жить мы где-нибудь под Киевом. Последние приготовления к бабушке — я с чемоданчиком иду на вокзал, а она стоит на балконе... Умерла бабушка 27 марта 1943 года, так и не дожив до освобождения».



Что можно сказать об этой олеографии любви?

Или слова о родных, о домашних стенах, в письмах маме с фронта, от 1 марта 1944 г.

«Твои книги оказались мне дороже. Замечательно! Только ради Бога, больше не падай...»

Чертова война, как она всем надежда! Не может быть, конечно, что раньше или позже я к вам приеду, но как хотелось бы, чтоб это поскорей произошло и чтоб я приехал к вам не в 6 дней, а навсегда, и чтоб мы могли по-человечески устроиться и жить вместе, без долгов, рубки дров и вождей за водой на базары. Это будет, я знаю, но боюсь не 1 мая, а немного позже...

И все-таки я счастливый человек. Мне удалось выжить дома и поводить вас. А не раньше — это по 6 января не случилось. И эскати я верю в свою счастливаю звезду — и 2 1/2 года я провоевал, и в самых адских котлах перебивал (попарноловленные Харьковские наступление, затем отступление, Сталинград, Донец в этом году) — и все-таки жив остался. Ну разве это не везение? Вот грустно только, что бабушку в живых не застал.

Я часто, засыпая, вспоминаю и представляю новую квартиру, квартиру, какой чудесной вид, сколько воздуха, света, какие милые и привлекательные все предметы — шкафы, книги, обитанные кресла, полочки с бирюльницами, большое кресло, в котором бабушка любила сидеть...

Я очень безумно — получил бы вы мои деньги, которые я прислал вам из резерва в середине января — 900 рублей. С тех пор я еще ничего не получал (хотя мне и полагается за два месяца около

3000) — мучалось, что потом не могу вам помочь...»

## Мать

«Зина, моя мать, Зинаяда Николаевна, веселая, общительная, добродетельная, любящая концерты, театры, путешествия, прогулки, которых сейчас, в свои девяносто лет, она лишена», — писал Виктор Некрасов в 1969 году.

Но мы мысленно обобразаем молодые и зрелые годы Зинойди Николаевны. И прежде всего в ее врачебной нишесте. Она прошла европейскую школу высшего медицинского образования и практики. Расцвет ассистента и бактериолога, первые шаги современной анестезиологии и рентгенологии, достижения хирургии — все это пришло на ее студенческую пору и начальные этапы врачебного познания. А потом наступила Первая мировая война, и началась во Францию госпитальная хирургическая страда Зинойди Некрасовой, очевидно, и спасающая ее настоящим врачом. С хирургическим высот, как правило, видна ее медицина. Зинаяда Николаевна была и участником терапевтом, и физиотерапевтом, и врачом вокального миделутика в тревожное лето сорок первого, выполняла свои обязанности и в дни вражеского нашествия. Оставалась бесбревенной, отзывчивым человеком и прогрессивным, умудренным специалистом.

Зинаяда Николаевна, и это стоить подчеркнуть, не сделала никакой административной карьеры. Она была просто хорошей врачом. А когда настала пенсионная пора, то, что называют «третьим возрастом», благодаря заботам Виктора Платоновича перед ней открылись новые дали...

«Мы с мамой выходим гулять обычно под вечер», — писал Виктор Некрасов. — Жара уже спала, но вечерней толкотни еще нет. Маршрут традиционный — до эспланады над Дзержинским или по Петровской аллее и назад. У подножия перехода ожидают продавцы цветов, они нас хорошо знают... Мама любит ландыши, и весной у нас вся квартира в ландышах. И в распускающихся веточках тополя, каштана, клена. Потом сирень, жасмин, к концу лета — гортензия, осенно — георгина, астры...»

А вот московские эпизоды... «...Прогулка была парная — я и мать. Больше всего в жизни она любила гулять. В эту зиму было холодно, поэтому сначала мы долго одевались. Процедура была сложная — одна кофта, на две дру-

жини врачом стареющего сердца для Зинойди Николаевны стал Виктор Годи брала свое. Приходилось нестерпимо опекать маму, но оставлять одну на улице... Теперь в микрочистоте Зинойди Николаевны противостояли живое любопытство и все большая утомленность. Сын замечал, что ей все больше нужен покой. И чтобы не обидеть ее, Виктор Платонович или другие спутники размыривали в ходе прогулок крайнюю степень усталости.

Вообще же Викторина частенько приходилось размыривать перед мамой мимозное благополучие. Кальцо официального неприятия сложилось. «Не помню, в каком году это было, пишет Паула Утенская, — была с Зинойди Николаевной только что вернулась из Ленинграда, где должны были снимать по его сценарию фильм. И ничего из этого не получилось, только много было обидного и горького.

За столом собрались друзья, Зинаяда Николаевна навью рассказывать, как хорошо они провели время в Ленинграде. Вова, боюсь, что при матери могло пролетать о том, что было в Ленинграде в действительности, говорит: «Да, да! Нам было очень хорошо, мы прекрасно провели время...»

Мы надеваем на лица улыбку. В конце жизни Зинаяда Николаевна поломала шею бедра. На ноги уже не встала. Виктор Платонович терпеливо, словно ласковая сиделка, ухаживал за мамой и в больнице, и дома. Она скончалась в 1970 году, на девяносто первом году жизни...

## Тети

И наконец, Софья Николаевна Мотовилова... «Как Софья служила? Почему на нее не выдают орден ВЛКСМ? А есть ли теперь в Киеве МАНОВСКАЯ библиотека или все растащины немцами?» — писал Виктор Некрасов маме 11 июля сорок четвертого года.

«Характер у Софи был великий. Добрая в душе, желанная всем помочь, и не только желанная — готовая отдать последнюю копейку, она делала это так достойно, что многие от нее только шаркались».

Биограф библиотеки Воеводской академии наук Софья Мотовилова безбоязненно простояла в тридцатых годах против ареста. Но ее не тронули...

«В студенческие годы, еще своих первых обязанностях, я еще выполнял обязанности «монсера сына тети», — пишет Виктор Некрасов в очерке «Две истории». — В каждую свою поездку в Москву я получал от нее «спасательные». Ответил В.Бонч-Бруевичу — редактору сборников «Земля» — ее мемуары, то зайти к Круской, с которой она в свое время работала в Наркомпроме, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости. Году в тридцать первом получил я очередное задание — поведать Корня Ивановича Чуковского и передать ему письмо... Прошли годы. С тейкой по-прежнему переписывался, присылал ей все время, остроумные письма и очень много поздравил с «Минувшим». Эти мемуары С.Мотовиловой опубликовал «Новый мир». «Не могу не похвалиться его отзывом», — пишет Виктор Платонович. «Дорогая однокласска Софья Николаевна! Здорово! В Москве только и разговора, что о вашем «Минувшем»... Я знаю и про Брокера, и про Чертова, и про Толстого, но в печати (да еще в какой!) в «Новом мире» все это замучило поновому молодое и свежее. Я очень обрадовался таким замечаниям и спешу поведать Вас с их восторжением. Ваш К. Чуковский 25 мая 1964».

В читальном зале Государственного музея-архива литературы и искусства Украины я перелистываю альбом с фотографией Зинойди Николаевны. И глаза сына и матери говорят больше слов...

В Парине, в восемьдесят третьем, Виктор Некрасов писал: «Ну какое я имено право жаловаться, если, отрубив везе Сталинград от первого до последнего дня, оставил жиня. И вернулся в родной Киев, и обнял маму, которой тоже не так уж сладко было в годы оккупации, обнял, расцеловав ее, маленькую, худенькую, склонившуюся над своей дымящей из всех щелей русской, и прожил с ней еще двадцать пять лет! Подумать только — двадцать пять лет!

И такие слова: «Нет, не скажу я по Юрию... Только одно место твоя мама и себе — три могилки на железной оградой на Байковом кладбище. Там покоятся три самых близких для меня человека, проживавшие такую хорошую, ясную и такую нелегкую жизнь. Бабушка умерла еще при немцах — самый добрый человек в мире, тети Сова — человек жесткий нравом, — прожил еще двадцать лет, последний умерла мама, умерла тихо, долго вадоную у меня на руках. Ее люблю и люблю больше всех, ее мне больше всего не хватает на свете — ее ясность, веселость, добротность во всем...»